

мою творя по смерти? Все бо естество человеческое в небытие расходуется и забытию предавается“.

Таким образом, автор этой редакции жития Ольги воспользовался формой плача для выражения не только эмоций горя, но и философских размышлений и полемических выпадов против врагов царской власти. Злободневная тенденциозность окрасила здесь рассказ о событиях далекого прошлого.

В сильно сокращенном виде, притом без каких-либо отголосков нового исторического сюжета, плач Евдокии воспроизведен в поздней редакции жития князя Федора Ярославского (см. рукопись Гос. Публ. Библиотеки им. В. И. Ленина, собрания Ундольского, № 1126, XVIII в., лл. 218—218 об.).

Формулы плача Евдокии так глубоко укоренились не только в житийной, но и в исторической биографии, когда ее приспособляли к церковному употреблению, что они повторяются даже в плаче рязанского князя Ингваря Ингоревича „о братии, побивенных от нечестивого царя Батые“,¹ и в сокращении этого плача — в плаче великого князя Юрия Всеволодовича, оплакивающего погибших в битве с Батыем князей и дружину.

В середине XVII в., повидимому, в связи с перенесением тела князя Юрия Всеволодовича „из предела в собор у столпа посреди церкви“ (во Владимире), была составлена церковная его биография. Это — компиляция из разнообразных книжных и устных источников (см. Н. Серебрянский, ук. соч., стр. 149—151), среди которых находим, между прочим, следы и плача Евдокии, вероятно, через плач Ингваря Ингоревича: „Днесь кому приказываете мене, солнце мое драгое, месяц мой прекрасный, почто рано зашли есте? Где, господие, честь и слава ваша? Многим землям государи были есте, а ныне лежите на земли пуге, и зрак лица вашего изменися. Не слышасте ли, господине, словес моих? О земле, земле! о дубравы! вси плачите со мною. Како нареку день той и воспишу, вонже толико погиге государей и великих храбрых удалцов и ни един же возвратися, вси равно умроша и едину чашу смертную пиша“. Так вдовый плач соединяется с прямыми отзвуками повестей о разорении Рязани Батыем (плач Юрия, изд. Н. Серебрянский, ук. соч., стр. 163, по рукописи XVII в. Гос. Публ. Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, собрания Строева, № 1578/43, лл. 43 об. — 44 об.).

Акад. А. И. Соболевский в названной статье предлагал рязанский плач Ингваря считать источником плача Евдокии, в котором рязанский текст „приспособлен к московской обстановке“ (стр. 181). Вряд ли, однако, для рязанской литературы XIII в. может быть признано вероятным такое гиперболическое описание горя, которое в памятнике XV в. („Слово о житии“) отвечает новой стилистической манере: „Видя же то князь Ингварь Ингоревич и возопи горьким гласом, велми ревый, слезы от очю испущаючи, яко струю сильно, утробою распалающися, в перси руками быущи и гласом же яко труба рати поведаючи, яко орган сладко вещаючи“ (стр. 178). К тому же заимствование выдают и такие неприспособленные к требуемому смыслом двойственному числу выражения, как „како успе, животе мой драгий... Како заиде свете очю моею... кому приказываете мя, солнце мое драгое, рано заходящее, месяц мой краский, скоро погигший [в плаче Евдокии „солнце“ и „месяц“ — два эпитета, с которыми вдова обращается к умершему мужу, здесь они неудачно разделены]... свете мой светлый, чему помрачилися есте“.

¹ По рукописи XVI в. „вероятно М. П. Погодина“, изд. во Временнике Моск. общества истории и древностей, 1852, кн. XV; переизд. А. И. Соболевским в статье „К Слово о полку Игореве“ — Изв. по РЯС АН, 1929, т. II, кн. I, стр. 177—181.